

# F20

**Автор:**

Анна Козлова

F20

Анна Юрьевна Козлова

Классное чтение

В романе Анны Козловой “F20” героиня живет со страшным диагнозом “шизофрения”. Читая этот безжалостный, смешной и глубоко драматичный текст, невольно задаешься вопросом: кого на самом деле стоит считать нормальным.

Анна Юрьевна Козлова

F20

© Козлова А.Ю.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

- 1 -

Начиналось все неплохо. Я родилась в большой семье, в большом доме; спустя два года после моего рождения появилась сестра Анюттик. В чемоданчиках с

генами, которыми нас с Анютиком одарили, были сломаны замки, но поначалу это не бросалось в глаза, и мы жили под присмотром родителей и бабушки, росли, играли. Папа имел свой бизнес – так было принято говорить в те времена, – когда он впервые увидел маму и захотел от нее детей. Он искал нормальную жену, нормальную женщину, какой была его мать. Крепкую, с сиськами, чтобы хорошо готовила и занималась детьми. А уж он мог обеспечить и ее, и детей, сколько бы их там ни было. “Все нормально”, – говорил папа, напиваясь. Но все отнюдь не всегда было так.

Обычно все было совсем даже не нормально. Но это не играло такой уж решающей роли, когда был дом, на первом этаже – кухня, она же столовая, все проектировал дизайнер, и барная стойка, над ней висят сковородки розовой меди, ужасно, ужасно дорогие. Всю эту кухню папа планировал под жену. Ее не было, вернее, была какая-то Лена с сиськами, но папа не желал ее видеть своей женой. Он, правда, жил с ней, отдыхали вместе на Кипре, он четко отслеживал, чтобы в дьюти-фри Лена тратила не меньше двухсот долларов, на Кипре они вместе фотографировались, лежа в прибое. Ели рыбу, если вдруг что-то нравилось, он безропотно покупал, хотя и посмеивался – Ленин выбор папа почему-то всегда находил немножко глупым. Но зато она отвлекалась – на выбор. А папе звонили из Москвы и требовали немедленного решения по поводу офиса.

Когда мы родились, папа с офисом определился. Снимал бывшее советское помещение – на фасаде была мозаика в стиле соцреализма: женщины, дети, рабочие, все они так крепко стояли на земле, что ноги их казались бетонными. Сам папин бизнес едва ли отличался таким качеством. И поэтому его дом, его дизайнерская кухня, все его сковородки розовой меди вместе должны были фиксировать какое-то важное, необходимое, но почему-то отсутствовавшее качество жизни.

Он это понял, когда однажды, совершенно случайно, подвернул ногу на улице и сам – от посторонней помощи отказался – доковылял до ближайшего травмпункта. В этом месте судьба папы пересекается с судьбой мамы. Но это неинтересно. Потому что папа просто дал ей сто долларов за перевязку, потом вяло хохмил насчет перелома, потом трахнул на коричневой дерматиновой кушетке, а потом сказал, что уезжает. На маму это большого впечатления не произвело. На нее вообще ничего не произвело впечатления – ни его нога, ни его член, ни сто долларов. Еще ему все время звонила Лена, и, чтобы маму наконец взбодрить, он в очень грубой форме оповестил Лену о том, что все кончено, а

маме предложил свой дом. Ну, и все остальное.

Чтобы понять, почему мама согласилась, надо представлять себе бабушку. А бабушкино мнение о жизни было довольно критическим, возможно, оно подпитывалось ее работой. Она служила терапевтом в поликлинике, и каждый день внушительный поток людей убеждал ее в том, что все очень нелегко. Что касается мамы, то она, по протекции бабушки, тоже окончила Первый мед, но ее практика оборвалась по причине тотального отсутствия интереса к своему предмету. На лето перед предполагаемым поступлением в ординатуру мама устроилась санитаркой в травмпункт. Воспоминания об этом месте она сохранила самые хорошие. Когда она рассказывала, какой там был заведующий Арам Артурович, как там пили и безобразничали с наступлением темноты, ее взгляд теплел и в синоптическое пространство приходили медленные допаминовые волны. Бабушка, уверенная в том, что мама получает неоценимые врачебные знания, уехала на двадцать один день отдыхать в санаторий.

В одну из ночей, когда весь травмпункт с одобрения Арама Артуровича пил, а мама, напившись, спала на застеленной клеенкой кушетке, доставили парня. Как потом выяснилось, он прыгнул из окна, но друзья, которые его привезли, пытались это скрыть. Они дали Араму Артуровичу денег, чтобы он наложил на ногу гипс и никуда не сообщал, потому как в противном случае парня отвезли бы в дурку и вместе с гипсом на сломанную ногу он получил бы в качестве врачебной помощи убойные дозы галоперидола.

Накладывать гипс Арам Артурович поручил маме. Она неожиданно хорошо справилась с задачей, а наутро они с парнем, который представился Толиком, уехали из травмпункта вместе. Когда бабушка вернулась из санатория, мамы дома не было. Она позвонила с неизвестного номера ближе к вечеру и сказала, что нашла любовь. Бабушка мало что могла разобрать из сбивчивой маминой речи, к тому же в трубке кто-то настойчиво тьякал.

- Кто там лает? - крикнула бабушка. - Я плохо тебя слышу!

- Мы щеночка завели, - сказала мама. - Ну ладно, я позвоню потом.

Бабушка нервничала, но ближе к полуночи приняла половинку диазепама и подумала, что ничего страшного не произошло. Ее дочь совершеннолетняя, она встретила мужчину. Рано или поздно это должно было случиться. В то, что все

может сложиться нормально, бабушка изначально не верила и поэтому решила просто ждать, пока весь ад грянет в свои цимбалы. Она не искала маму, даже когда наступила осень и позвонил ее знакомый Леопольд Львович из ординатуры.

– Боюсь, она не сможет учиться, Леопольд, – сказала бабушка, – у нее проблемы. Со здоровьем.

Сентябрь, октябрь и половину ноября бабушка особенно свирепствовала в поликлинике, а ближе к концу осени на пороге ее дома появилась осунувшаяся мама в чужой плащевке и с подростком кокера на поводке. Мама была издергана и толком не понимала, что происходит. Ее Толик оказался каким-то странным. То есть летом все шло хорошо, перелом у него оказался легким, уже в июле гипс сняли, они на Клязьму ездили, к его маме, он такой веселый был. Золотая молодежь, актер, он ведь с пяти лет снимался, и мать его в театре, и друзья все такие, творческие. Бабушка мрачно слушала. Осенью, по словам мамы, Толик стал меняться. Он мог сидеть часами, уставившись в одну точку, отвечал невпопад. Путал слова. Вдруг доставал с антресоли горнолыжные ботинки и начинал складывать сумку, чтобы ехать кататься.

Мама пошла гулять с собакой, но встретила соседку, которая рассказала, что на проспекте убили мужчину и всё оцепили менты. Мама захотела посмотреть. Вернувшись домой, она простодушно поведала Толику историю с телом и ментами. Толик занервничал. Он удалился на кухню, а вышел оттуда с ножом. Стал ловить в коридоре собаку, собака визжала и пряталась за маму. Толик был уверен, что, пока мама тупила над убитым, менты вживили в собаку микрочипы и, возможно, даже подслушивающее устройство. И ее надо срочно разрезать.

Мама неожиданно для Толика распахнула входную дверь и заорала: “Гулять!” Собака выбежала. За ней выбежала и сама мама. Они воссоединились с собакой на втором этаже и вместе поехали к бабушке.

– А ты сразу не поняла, что он шизофреник? – спросила бабушка.

– Он не шизофреник! – крикнула мама. – Он актер! Он с детства в кино снимался...

– Или наркоман, – заключила бабушка.

Толик еще пару недель звонил маме и пытался вызвать ее на встречу, но бабушка так ее запугала, что она не соглашалась. Потом он исчез. В состоянии депрессии мама тем не менее продолжала ходить на работу в травмпункт, где ее и подхватил папа.

Из-за того, что Анюттик появилась так быстро после меня, у мамы начались те самые проблемы со здоровьем, которые опрометчиво предрекла в разговоре с Леопольдом Львовичем бабушка. Ноги поразил варикоз. Вены, идущие от ступней к щиколоткам, почернели, на лодыжках набухли тяжелые, темные гроздья. Мама больше не могла носить юбки. Она очень переживала из-за ног, но почему-то не лечилась. Ей несколько раз настоятельно предлагали сделать операцию, но бабушка отговаривала после случая с какой-то знакомой знакомых, которой на операции вместо вены перерезали артерию и ногу пришлось отнять.

Варикозные ноги, двое маленьких детей, собака и дом, в котором она торчала безвылазно, погрузили маму в апатию. Многие дети в нашем заповеднике ходили в детский сад, но нас туда папа отдавать запретил. Его отношения с мамой вообще были крайне лаконичными. Он или что-то давал, или забирал.

Как и многим мужчинам, ему почему-то казалось, что счастье женщины состоит из ограниченных и очень простых вещей, типа того, что изображается в рекламе. Вот дом, вот кухня с красивыми сковородками, вот дети, вот кокер-спаниель, а вот и платья в шкафу, духи на столике, крем в ванной. Разве же это не счастье? За то, что именно он все это угадал и маме преподнес, папа хотел если не безумной любви, то хотя бы благодарности. Но не получал и ее. Единственным, что он получал, были слезы, скандалы и разрушительное поведение. Это папу расстраивало. Это угрожало его рациональности, он начал подозревать, что просто выбрал не ту женщину.

Папа уезжал на работу рано утром. Мы с Анюттиком, голодные, в трусах и майках, врывались в родительскую спальню и прыгали по маме, пытаясь ее растормошить. Это была задача не из легких. Мама лежала в кровати на спине, а из глаз у нее катились слезы, она даже не делала попыток вытереть их. Кокер по кличке Долли поскуливал, сидя на полу перед кроватью, а потом перемещался в коридор, где к моменту, когда мама все-таки находила в себе силы подняться, всегда была лужа. А иногда и куча.

У нас в принципе отсутствовали понятия завтрака, обеда и ужина. Иногда маму удавалось вытащить из постели в двенадцать, иногда вообще в два. Бывали дни, когда она вставала, в ночной рубашке заходила на кухню и ставила кастрюлю с кашей на конфорку. Через минуту она забывала про кашу, и та горела, покрывая дно кастрюли розовой меди неотмываемой коричневой коркой. Мы обедали кашей, завтракали супом, в зависимости от того, что стояло в холодильнике ближе, когда мама его открывала. Если после приема пищи она снова не возвращалась в постель, мы шли гулять с собакой.

Мы требовали, чтобы мама отвела собаку домой и сходила с нами на детскую площадку. Она почему-то сопротивлялась, собака была для нее чем-то вроде якоря: когда она находилась по другую сторону поводка, мама словно чувствовала себя устойчивей. Если все-таки от Долли удавалось избавиться и мы добирались до каруселей и турников, мама садилась на скамейку и сидела много часов, уставившись в одну точку. Иногда мы гуляли на площадке до темноты. Так Анютик однажды зимой обморозила себе пальцы на ногах, а я чуть не лишилась языка, лизнув качели. Если бы не какой-то мужик, отогревший мой язык своим дыханием с чесноком, трудно спрогнозировать, чем бы та прогулка закончилась.

Мы с Анютиком перед сном лежали в кроватях и говорили, как ненавидим маму. Наш круг общения был не особенно велик, но ни у кого из знакомых детей такой мамы не было. Чужие мамы ходили на каблуках, в сережках, у них было и двое, и трое детей, собаки и кошки, но они всегда вставали и готовили завтрак, а не лежали в кровати со слезами на глазах.

- Мне кажется, - заключила Анютик, - ей просто не нравится жить.

Папа снова сошелся с Леной. Доходило до того, что он подъезжал к нашему дому в своем огромном джипе совершенно пьяный, и потом из джипа вываливалась совершенно пьяная Лена и что-то оскорбительное кричала нашему забору. Папа хохотал. Если Лена была не слишком настойчива в оскорблениях, папа целовал ее взасос на наших глазах и снова погружался с ней в джип. Если она конкретно хамила, папа мог ее побить. Бил он ее по лицу, иногда увлекался, сбивал с ног и потом, лежащую на земле или на снегу, если зимой, крепко пинал ботинками.

В какой-то момент бабушка нашла для мамы врача. Он жил в частном доме в Видном и лечил бывших спортсменов. Бабушка говорила, что к нему едут со

всего СНГ. Утром мы с мамой и Анютиком сели в джип и спустя пару часов добрались до дома доктора. Анютик просила пить, и его жена завела нас в грязную, с запотевшим окном кухню, где на столе, на заскорузлом полотенце, были разложены шприцы. У доктора был свой метод: он делал раствор на основе йода, вводил его в нескольких местах в больную вену и тем самым сжигал ее изнутри. Вена уходила под кожу. Мы ездили в Видное несколько месяцев, от гроздьев на маминых ногах остались только синеватые пятна. Напоследок доктор посоветовал маме делать лечебную гимнастику для ног.

Я пошла в первый класс. Это выглядело немного предательством. Теперь я присоединилась к папе, уходящему из нашего проклятого дома, а Анютик оставалась одна с мамой и Долли. В школе мне нравилось. Там не было интересно, там не было хорошо, но там было предсказуемо, и я купалась в этой предсказуемости, как воробей в луже. Во всех действиях и оценках была логика, и эта логика была понятна: хорошо учишься – ты хороший, не слушаешь учителя – ты бездельник, гуляем, потому что полезно, обедаем в три. Я хорошо училась, после уроков читала или рисовала, учителя меня хвалили за усидчивость.

У мамы же это полезное качество напрочь исчезло. То ли почувствовав легкость в ногах, то ли с излишней ревностью восприняв прощальное напутствие доктора из Видного, мама увлеклась фитнесом. Она по-прежнему лежала в постели до полудня, но после вдруг вскакивала и развивала бешеную активность. Мама натягивала на упирившуюся Анютика колготки и комбинезон, и в любое время года они шли гулять, и Анютик уныло бросала Долли палку, а мама приседала, бегала на месте, делала махи ногами и ходила приставными шагами. Так могло продолжаться несколько часов. Потом они возвращались домой, Анютик получала какой-то обед, а мама, снова в майке и спортивных трусах, скакала теперь уже в комнате перед телевизором. Вечером, когда вся наша семья собиралась на кухне за ужином, мама могла внезапно встать из-за стола и уйти в спальню, чтобы делать там березку. Она похудела и окрепла, старая депрессивная одежда ей больше не годилась. Она купила себе новую. Много.

У отца поднялась температура, и вдобавок он поругался с Леной. Он не брал шофера, тот с утра позвонил и тоже пожаловался на жар. Папа бросил свой грандиозный джип у нашего забора и вдруг увидел Анютика, убегающую под ели. Горячий, почти сорокаградусный папа поднырнул под ель за Анютиком и увидел маму в позе ласточки, а также своего шофера, интимно ее поддерживающего. Отец позвал Анютика и крикнул шоферу, что тот уволен. Шофер убежал. Мама, папа и Анютик вернулись домой, и отец приступил к

допросу. Он, как на незнакомого человека, смотрел на подтянутую краснощекую маму и по кругу повторял одни и те же вопросы, перемежавшиеся странными требованиями. Сначала он спрашивал, как давно мама спит с шофером, на что мама отвечала, что не спит с ним. Просто он помогал ей. Отец несколько секунд молчал, а потом потребовал, чтобы мама призналась: она ведь давно уже живет с шофером, вся эта аэробика – лишь предлог. Мама в этом признаваться не желала. Тогда отец немного поменял угол вопроса: чем она занималась с шофером под елями? “Аэробикой”, – сказала мама. “Ты меня за идиота держишь?” – спросил отец.

Суть происходившего я знаю лишь со слов Анютки, поэтому затрудняюсь сказать, сколько весь этот бред продолжался. Не получив ответов, отец начал маму избивать; Анютка дико орала. Маме удалось подхватить Анютку и Долли и закрыться от отца в ванной на нижнем этаже. Он попытался выломать дверь, но вскоре в его голову пришла идея получше. Отец обложил дверь в ванную газетами, полил их керосином, который стоял в подсобке для каких-то сантехнических нужд, поджег и ушел из дома. Мама, Анютка и Долли, равно как и весь дом, не сгорели только потому, что керосин оказался просрочен и через пять минут после поджога в дом вошла бабушка, обеспокоенная тем, что мама ей целый день не звонила. Она сразу затушила занимавшиеся обои, а мама после долгих уговоров открыла дверь в ванную.

Анютку дали валерианки, а мама с бабушкой заперлись в спальне, и бабушка долго ее пытала. Она тоже почему-то не верила, что шофер помогал маме делать ласточку. Мама рыдала. Бабушка заключила, что мама – полная идиотка, а такой психически неустойчивый человек, как отец, может быть опасным для детей, и мама с жаром согласилась. Бабушка боялась, что отец не отдаст маме нас с Анюткой, но тут в дом ворвалась Лена. И приказала нам всем, включая бабушку, выметаться. Прокричав все это, она вошла в нашу кухню, где висели на специальной стойке сковородки и кастрюли розовой меди. Лена вдруг заплакала. Она стояла среди сковородок, плакала, а ее сиськи воинственно подрагивали в такт рыданиям.



Анютика отдали в школу на год раньше – держать ее дома уже не было никакой возможности. Без отца наше финансовое положение основывалось исключительно на бабушке, пока она в очередной раз не обзвонила знакомых и тот самый Леопольд Львович, который в свое время держал для мамы контрамарку в ординатуру, не устроил маму администратором в новую частную клинику. Маму эта перемена, против ожиданий, крайне воодушевила. Каждое утро она натягивала юбку, накручивала волосы на старые щипцы с местами погоревшим, заклеенным изолентой проводом и убегала на работу. Приходила поздно. Мы уходили в школу одни и возвращались одни домой.

Со второго класса начался немецкий язык, как ни странно, ставший для меня опорой, надеждой и своего рода спасением в тех обстоятельствах, которые жизнь мне с самого рождения предложила. В его громоздкости я находила надежность, в неблагозвучии – тайную красоту, в чудовищной грамматике – вознаграждение. Приходя из школы, я стаскивала с полки огромный немецко-русский словарь и часами читала его. Длинные, составленные из многих других, как скелет из костей, слова меня очаровывали. *Verzweiflung* – отчаяние, *Schatz* – сокровище.

Анютика школа как-то сразу прибила. Я часто приходила к ней в класс на переменах и слушала, как ее ругает учительница. Анютин, не реагируя, сидела за партой и густо зарисовывала последнюю страницу тетради. Она вообще не понимала, что от нее требуют на уроках. Она не могла осознать, как отдельные буквы соединяются в слоги; писать в прописи у нее тоже не получалось. Я честно пыталась ей помочь, но она как будто бы и не нуждалась в помощи, и кончалось все тем, что я делала за нее домашние задания. Если меня панически пугала мысль, что я получу двойку или меня вызовут к директору, то Анютику на это было просто наплевать.

– Я когда туда захожу, мне хочется умереть, – объясняла она.

Потом появились голоса. Они звучали в голове Анютика, но если дома их еще можно было как-то терпеть, то в школе голоса становились настолько громкими, что Анютин билась головой об стену, только бы они замолкли. Сначала я не очень серьезно относилась к голосам, но она так много о них говорила, что я привыкла и даже втянулась в их вечный гул. После школы мы приходили домой, я разогревала сваренный бабушкой суп, мы ели, а потом садились рядом, и Анютин повторяла для меня, что говорят голоса.

“Во дворе дети играют. Подойди к окну”.

“Смотри, она не идет, не верит нам. Ну и дура”.

“Иди к окну! Дети играют, что они кричат, ты слышишь? Мы слышим”.

“Дети играют, у них красный мяч. Прыгай! Прыгай!”

Сначала голоса звучали разрозненно, и это действительно угнетало. В моей голове их не было, но даже то, что повторяла для меня Анюттик, настолько изматывало, что через десять минут активного слушания я с трудом могла понять, где нахожусь. Анюттик говорила быстро, интонация срывалась от крика до шепота, но мне было ясно, что она едва успевает за голосами. В ее голове они говорили еще быстрее. Постепенно из общей полифонии выделился голос Сергея. Он был наш сосед сверху, но умер. Сергей требовал, чтобы Анюттик нашла его жену Ирину и отдала ей вещь. Какую вещь – мы не понимали. Сергей из-за этого злился. Он сказал, что, если Анюттик и впредь будет такой тупой, он ее накажет, он отнимет ее правую руку и возьмет в аренду.

– Как это – в аренду? – спросила я.

– Как это – в аренду? – спросила сама у себя Анюттик и сама себе ответила спустя несколько секунд: – Как-как? Возьму твою руку себе! Все будут думать, это ты делаешь, а это я буду за тебя твоей рукой делать. Если не найдешь Ирину и вещь не отдашь.

Сергей мне не нравился. Другие голоса, конечно, тоже говорили гадости, но они, во всяком случае, не угрожали напрямую. И у них не было никаких конкретных требований, ничего, кроме издевок и констатации действительности, а Сергей постоянно нагнетал поток своих претензий. Анюттик Сергея тоже боялась, но совершенно не понимала, как его заглушить. Особенно ее пугало, что каким-то образом он узнал и про меня и обещал до меня тоже добраться.

– Ты думаешь, он может залезть и в мою голову? – спросила я.

– Он все может! – ответила Анюттик. – Он мертвый, ему все равно...

Однажды утром Анютик не смогла пошевелить своей правой рукой. Рука висела как тряпочка. Я поднимала ее, терла, но она не двигалась.

- Он взял ее, - прошептала Анютик, - только не говори маме с бабушкой! Пожалуйста!

Я тайно принесла Анютику стакан кипятка. Она, давась, выпила его, а потом позвала бабушку и начала хныкать. Бабушка померила ей температуру и сказала, что у нее, видимо, начинается грипп. Никто не мог с ней остаться, и решили, что останусь я, пропущу один день в школе, ничего страшного.

Мама с бабушкой ушли, оставив мне аспирин и банку меда, а мы с Анютиком принялись допрашивать Сергея. В тот день он почувствовал свою силу и с нами не церемонился.

- Чего ты хочешь? - спрашивала Анютик.

- Сама узнаешь! - кричал он. - Не отдашь мое, я твое возьму! Твоя рука теперь моя!

- Он сделает что-то страшное, - сказала Анютик, глядя на меня, - лучше отрезать руку.

- Ты больная, что ли? - поразилась я. - Как мы ее отрежем? Она ножом не отрежется.

- Я не знаю, не знаю, надо резать.

Анютик опустила голову на подушку, с нее ручьями лил пот.

Она лежала неподвижно около получаса, и я решила, что она заснула. Мне очень хотелось есть. На кухне я налила себе чаю и сделала бутерброд с сыром. Я ела и прислушивалась. В квартире было так тихо, что меня охватила паника. Я отшвырнула чашку с недопитым чаем, побежала в комнату. Анютик стояла на подоконнике у открытого окна. Мне удалось схватить ее за подол ночной рубашки, но не втянуть обратно в комнату. Анютик сопротивлялась и орала, что Сергей не получит ее руку. Воспользовавшись моим замешательством, она изо

всей силы саданула мне пяткой по носу, нос хрустнул, по подбородку потекла кровь. Я поняла, что вряд ли смогу долго держать оборону. Печатая на стенах кровавые абрисы, я тоже залезла на подоконник и стащила оттуда Анютика. Окно я закрыла и выскочила в коридор. Анютик от злости громила комнату.

Я позвонила бабушке на работу.

Через пятнадцать минут приехала бабушка, а вслед за ней мама. Бабушка вызвала скорую. Посмотрев на Анютика и на обстановку комнаты, они сразу вызвали психиатрическую перевозку. Анютик впала в ступор, она не отвечала на вопросы и разговаривала только с Сергеем. Но это понимала я, а остальные ничего не знали про Сергея и смотрели на нее как на сумасшедшую. Когда наконец приехал психиатр, бабушка вытолкнула вперед меня, требуя, чтобы я ему рассказала все, что говорила и делала Анютик.

Мама плакала.

– За что, господи, за что? – вскрикивала она.

Психиатр, мужчина лет сорока с несколько обвисшим лицом, терпеливо ждал. Я стояла перед ним в окровавленной пижаме, под ногами крутилась Долли и истерически гавкала. Что такое быть нормальной, пронеслось в моей голове, и почему Анютик ненормальная? Она слышит голоса и хотела выкинуться в окно. А мама? Она что, нормальная? И аэробика, и лежание в кровати – это все нормально? А папа? Он поджег маму и Анютика, он хотел, чтобы они умерли, – неужели эти люди могут считаться нормальными, а Анютик – нет?

В конце концов я сдалась и рассказала ему. Про голоса, про Сергея, про то, что в школе Анютик ничего не может учить и про то, как сегодня утром у нее отнялась рука.

– Как она это восприняла? – спросил он.

– Она сказала, что Сергей выключил ее руку, – ответила я.

Психиатр покивал, мама и бабушка бросились к нему, говоря наперебой. Они хотели знать, что ждет Анютика. Зазвучали слова “стационар”, “шизоаффектив”,

“аминазин” и другие. Большинства этих слов я не знала, в тот день они как бы кивнули мне, здороваясь: давай, что ли, знакомиться, нам еще долго вместе...

Анютика забрали в Ганнушкина. Мама с бабушкой откупорили бутылку коньяка и обсуждали, как все это скрыть в школе. “Что сказать?” – все время повторяла мама. Бабушка рассудила, что школа – это полбеды, теперь главное – упросить врачей насчет диагноза. Чтобы “F” не ставили.

– “F”? – переспросила мама.

– Ты совсем отупела, все забыла? – разозлилась бабушка. – Если попала уже в Ганнушкина, без диагноза она не выйдет. Надо взятку давать, просить, чтобы невроз поставили или хотя бы шизоаффективное расстройство; могут же шизу вклеить! Представляешь, как ей с шизой потом жить? Ни в институт не поступит, ни на одну работу не возьмут... На учет ведь теперь обязательно поставят...

Мне навещать Анютика не разрешали. Мама только бралась передавать мои записки ей, но я не знала точно, передает она их или нет. Потянулись совсем мрачные дни. Я была все время одна – и дома, и в школе. Я затаилась и каждый день ждала, что Анютика выпустят из дурки. Разумеется, я не строила иллюзий на тему психического здоровья Анютика, но почему-то была уверена, что в больнице ее вылечат. И домой она вернется такой же, какой была до голосов. Так прошел месяц, потом второй месяц. Мы справили Новый год. Наступили зимние каникулы. На стене рядом со своей кроватью я написала ручкой Alleinsein[1 - Alleinsein – одиночество.].

До папы трагические новости о судьбе Анютика дошли с некоторым запозданием – я подозревала, что мама с бабушкой нарочно скрывали от него информацию до Нового года, чтобы был повод потребовать не только подарки, но и деньги на лечение, которое осуществлялось совершенно бесплатно. Папа приехал второго января с кроссовками, которые очень мне понравились, но оказались тридцать пятого размера. Я носила тридцать шестой.

– Будешь чай? – спросила мама, когда папа очутился на кухне и сел за стол.

Папа кивнул. Мама поставила перед ним заварочный чайник с отколотым носом и чашку. Папа взял чашку в руки и начал внимательно ее рассматривать. В

кухню пришла бабушка и села напротив.

- Лекарства очень дорогие, - сказала она.

- Нужно в больницу фрукты возить, врач говорит, каждый день, - высказалась мама.

Ничего не отвечая, папа подошел к раковине, включил воду и помыл чашку. Потом он вернулся на свое место, поставил чашку на середину стола и пояснил:

- Вот так вот должны выглядеть чистые чашки.

Эти слова произвели эффект бомбы. Мама и бабушка взвыли как в припадке. Они наперебой оралы, что у них нет времени заниматься фигней, что если папа не хочет знать своих детей, то пусть идет в жопу.

- Я хочу знать своих детей, просто нужно мыть посуду, - говорил папа.

Я заплакала. Поскольку никакой возможности находиться у нас не было, папа попросил разрешения забрать меня с собой на пару дней. Естественно, ему не разрешили. Он поцеловал меня и ушел. Бабушка не могла успокоиться до вечера. Она уверяла, что им с мамой удалось разрушить папин подлый план, состоявший, по ее мнению, в том, чтобы не дать им денег, а меня отвезти "к своей шлюхе". Денег мама с бабушкой и правда не получили, но и шлюхе, несомненно, досталось. Она не получила меня, и таким образом папа был посрамлен.

В тот вечер мы с мамой смотрели телевизор до ночи. Какой-то фильм про женщину с сильной волей, которая, опустившись на самое дно, нашла в себе мужество вернуться к нормальной жизни, а заодно отомстить всем своим обидчикам. Видимо, я заснула перед теликом, и мама отнесла меня в кровать. Во всяком случае, проснулась я именно там, среди ночи; очень хотелось писать. Я встала и пошла в туалет. Вернувшись в комнату, я увидела себя, лежащую на кровати. На несколько секунд у меня перехватило дыхание. Я поняла, что мне надо любой ценой вернуться в себя, но это плохо получалось. Я легла на свое тело сверху, я попыталась раскрыть себе рот, чтобы влезть в него, я прыгала на себя, как это делали герои мультфильмов, но все было бесполезно. Из стен шел какой-то гул, за стенами явно был кто-то, кто видел мои попытки. "А если я не

вернусь в свое тело? – думала я в отчаянии. – Кто тогда пойдет в школу?” То ли мысль о школе меня подстегнула, то ли я просто случайно нащупала правильный путь, но я снова оказалась внутри себя. И вздохнула.

Утром я проснулась совершенно разбитой, я перестала чувствовать свое лицо. Не могла поднять брови, не могла шевельнуть губами. Правда, к обеду это прошло.

Следующей ночью все повторилось, это стало повторяться каждую ночь. Я выходила из тела и не могла в него вернуться. Однажды я увидела в комнате что-то похожее на силуэт мужчины. Сначала я подумала, что это папа, а потом меня пронзила мысль, что за мной пришел Сергей. Все, что творится со мной, – по его вине. Он лишился Анютика, в Ганнушкина ему ее, наверное, не достать, и теперь он мучает меня. Наутро я еле встала, пробуждение в состоянии полного бессилия постепенно стало для меня нормой. Бабушка отправила меня вынести ведро. Около мусоропровода я встретила соседку тетю Раю с верхнего этажа.

– Здравствуй, Юленька, – сказала она. – Ты что-то бледная.

– Здравствуйте, – сказала я, – а вы знали Сергея и Ирину? Они тут жили раньше.

– Конечно знала. – Тетя Рая даже улыбнулась. – Ирочка мне до сих пор звонит. А Сережа... какая трагедия, такой талантливый художник...

Анютик вернулась домой в конце зимы. Прежней ее назвать было трудно. Она почти не разговаривала, много ела и сидела часами, не меняя позы. Что бы я ей ни предлагала, она отказывалась, никаких желаний у нее не осталось, если не считать желания есть. Бабушка каждое утро выдавала ей четыре таблетки – две коричневые и две белые. Анютик их покорно заглатывала. В школу она ходить не могла, и ее перевели на домашнее обучение. Впрочем, учиться она все равно не собиралась. Мы по несколько раз читали одно и то же предложение из учебника русского, но смысла слов она не понимала. Бабушка вышла на пенсию, потому что теперь они с мамой опасались оставлять Анютика без присмотра. Однажды, когда я, измотанная ночными кошмарами, вернулась из школы и, как сомнамбула, вытаскивала учебники из сумки, Анютик сказала:

– Все дело в таблетках. Из-за них я такая.

- Тогда не пей, - сказала я.

- Она заметит. - Анютик кивнула на дверь, имея в виду бабушку.

- Делай вид, что глотаешь, а потом приноси в комнату и отдавай мне, я буду выбрасывать на улице.

Прекратив пить таблетки, Анютик уже вечером почувствовала улучшение. Окончательно она пришла в себя через неделю. Мама и бабушка очень радовались. Весной нам даже разрешили гулять. Мы пошли в парк, сели на лавочку, и я, торопясь и глотая слова, рассказала ей про свои выходы из тела и про Сергея, которого я теперь видела в комнате почти каждую ночь.

- Замолчи! - оборвала меня Анютик. - Не говори никому! Самое тупое, что ты можешь сделать, это рассказать про то, что с тобой происходит, маме или бабушке. А особенно - врачам!

- Но я же не в себе! - сказала я. - Я не могу так жить...

- Притворяйся нормальной - это все, что ты можешь сделать. Как и я. Если ты поддашься им, тебя заберут в дурку. А это самое страшное...

- Но тебя же вылечили!

- Ты совсем, что ли? - Анютик даже рассмеялась. - Это вылечить нельзя. Меня кололи до того, что пена изо рта шла, а потом я просто сказала, что голоса исчезли. Если бы я не сказала, они бы меня и дальше кололи. - Она внимательно на меня посмотрела. - Если бы от шизы существовало лекарство, был бы хоть один, кто вылечился. Но таких нет.

- И что теперь?.. - удивилась я. - Так всю жизнь жить? С голосами и... с Сергеем?

- Выбора-то особого нет, - сказала Анютик. - Лучше жить дома, чем в дурке.

- Я боюсь, что когда-нибудь не смогу вернуться в себя, - пожаловалась я.



Анютик задумалась. Потом она вспомнила, что в захваченную Сергеем руку чувствительность вернулась, как только мы начали драться на подоконнике. По ее словам, связь с рукой как будто потерялась за ночь, а боль, неизбежная в схватке, соединила разрозненные части: сознание и мясо. Я подумала, что, если начну себя резать, дурки мне точно не избежать. Мы встали с лавки и пошли в ларек за мороженым.

Я похудела на пять килограммов, на уроках ничего не соображала, спала урывками, по тридцать – сорок минут. Больше всего я боялась, что появятся голоса – для меня это стало главным критерием потери рассудка. Голосов не было, но я все время что-то видела: какие-то люди показывали мне странные знаки, деревья так выгибались на ветру, что на секунду повторяли очертания лиц тех людей, но самое страшное, что все знали о том, что со мной происходит. Одноклассники, учителя, прохожие. Накануне Восьмого марта я заснула на уроке, а когда учительница стала меня будить, дико закричала. Класс сначала оцепенел, а потом грохнул хохот. Я вскочила и убежала. В раздевалке, когда я наклонилась, чтобы поднять свои валявшиеся на полу сапоги, меня вырвало. Я не помню, как доползла до дома, но, как только очутилась в квартире, оупляющая паника сменилась жаждой деятельности.

Я закрылась в ванной и включила воду. Сняла одежду и села на бортик ванной. В шкафу над раковиной хранились упаковки с опасными лезвиями, не знаю, для каких целей. Мне было девять лет, и я сосредоточенно обдумывала, как себя резать. Руки – самое очевидное, самое наглядное, самое близкое. Ты видишь их каждый день, ты знаешь каждый маленький шрамик, каждое пятнышко на ногтях. Резать руки хочется неодолимо, но к чему это приведет? Следы можно скрывать неделю, месяц, два месяца, но однажды все равно все откроется. И я загремлю в психушку. Мама и бабушка настроены решительно: если они так обошлись с Анютиком, вряд ли для меня сделают исключение. А там ждет галоперидол. Галочка. От него глаза закатываются вовнутрь, зубы стучат, и ты не можешь остановить их, чтобы они не стучали, у тебя текут слюни, а руки трясутся так, словно ты стоишь в тамбуре несущегося на всех парах поезда. Но самое ужасное даже не в этом, а в том, что, когда тебе перестают давать гал, ты окончательно сходишь с ума. Тебе так плохо, что лучше броситься под поезд. Что многие, кстати, и делают.

Значит, руки не выход, остаются живот и ноги. Живот – это опасно, а ноги – про ноги всегда можно сказать, что лезла через забор, что каталась на велосипеде. Правда, у меня нет велосипеда, и заборов рядом нет. Я обернула бритву носовым

платком и вонзила в ступню. Провела вдоль, потом вынула, снова вонзила – и сделала крестик. Из крестика в ванную закапала кровь. На своей ступне я вырезала бритвой M?de[2 - M?de – устала.]. Слово было таким красивым, что на несколько минут я забыла про Сергея, про то, что не сплю, могу не вернуться в тело, про школу, деревья, прохожих, про всю свою сраную жизнь. Я сидела на бортике ванной и смотрела на кровь. А потом заснула. Разбудил меня настойчивый стук и голос бабушки. Я перевязала ногу платком и пошла спать. Спала я почти сутки и ни разу не выходила из тела. Когда я проснулась, нога болела так, что на нее невозможно было наступить. Но эта боль возвращала мне меня, мои реальные ощущения. Не было ничего другого, кроме саднящей ноги; я чувствовала себя настолько прекрасно, что даже сделала уроки.

Постепенно это стало единственным утешением. Как только случалось что-то плохое и я ощущала в голове опасное бурление, я шла в ванную и резала ступни. На них образовались шрамы из слов. Сначала я писала только короткие слова: Lust[3 - Lust – похоть.], Tier[4 - Tier – зверь.], Tod[5 - Tod – смерть.], потом пришло время слов подлиннее – Wahnsinn[6 - Wahnsinn – безумие.], Unschuld[7 - Unschuld – невинность.]. Временами мне было трудно ходить, иногда я срезала старые шрамы, чтобы снова резать по живому. Сергей исчез, мои выходы из тела тоже прекратились, я поняла, что с кровью надо завязывать, и давала себе зарюки такого плана: если получу пять по математике, тогда порежу ноги; если по контрольной будет меньше четверки, не буду резать две недели.

Без препаратов Анютик продержалась четыре месяца, потом ее снова накрыл психоз. Ее забрали в больницу, откуда она уже вышла с клеймом “F20.024” и направлением на ежемесячные уколы в районный ПНД. Диагноз расшифровывался как параноидная шизофрения, приступообразный тип течения, с нарастающим дефектом личности. Бабушка мрачно заключила, что профессию в нашей стране Анютик теперь точно не получит. Мне хотелось сказать, что, даже если бы Анютику в диагнозе написали “ангел восьмого легиона небесного войска”, она все равно никакую профессию не получила бы, но не из-за диагноза, а из-за своих личных качеств.

Мы осознали ошибку. Нельзя было полностью отказываться от лекарств, нужно было понижать их дозу и слезать с “каши”. После второй госпитализации Анютик стала опытным пациентом и объяснила мне, что кашей называют прием нескольких нейрорептиков одновременно. Это дает побочку в виде овощного сидения на диване и неконтролируемого жора. Районный доктор по фамилии Макарон оказался передовым и выписал Анютику залептин с циклодором. Он,

правда, хотел четыре миллиграмма в сутки, но мы в течение двух недель сократили дозу до двух. В моем столе образовались залежи залептина.

Анютик смотрела в будущее без особого оптимизма. Старшие девчонки в больнице рассказали ей, что чем раньше шиза тебя схватит, тем хуже прогноз. До крови, говорили они, бывает один, максимум два психоза, и получалось, что Анютик свою норму уже выполнила.

- А что после крови? - спросила я.

Анютик раздраженно дернула плечом.

- Если думаешь, у тебя будет по-другому, ошибаешься. Следи за этим. Как только начнутся месячные, башню сорвет.

- Но сейчас ты ведь хорошо себя чувствуешь? - не успокаивалась я, все еще надеясь на чудесное исцеление.

- На залептине, - хмыкнула Анютик.

- Какая разница! - спорила я. - Можно пить залептин хоть всю жизнь, маленькая доза тебе не мешает. Ты скоро станешь совсем нормальной, вернешься в школу, и все будет хорошо.

- На какое-то время, - сказала Анютик. - Шиза - это зверь, это чертов дьявол. Сейчас она, конечно, разжала свои лапы, но она все равно рядом, я чувствую ее. Она просто ждет подходящего момента, чтобы снова схватить меня.

"И меня", - подумала я, но ничего не сказала.

- 3 -

У мамы время от времени появлялись мужчины. Чаще всего она знакомилась с ними в клинике. О том, что мама в романе, можно было судить по поздним

приходам, стыдливому застирыванию трусов, которые потом, как знак всем нам, висели на батарее в ванной, и запахам спиртного. С мужчинами мама выпивала. Разные женщины по-разному устраивают свою судьбу; в конечном счете единственное, что от них требуется, это прогнуться под мужика, но именно с этим, так сказать, краеугольным камнем отношений у мамы были сложности. Она с удовольствием кокетничала при знакомстве, соглашалась на свидание, потом с удовольствием выпивала и с удовольствием давала своему кавалеру. Так продолжалось два-три раза, а после мама напрочь теряла к мужчине интерес. Ей звонили, иногда мы с Анютиком, давясь от смеха, разговаривали за нее с ничего не понимающими поклонниками, один дяденька даже приходил к нам домой с букетом и коробкой зефира. Мама провела его на кухню, усадила за стол, а сама встала у раковины и начала остервенело рвать упаковку на зефире. Мужчина вызывался помочь, но она не разрешала. Потом она съела три зефирины и запила водой из-под крана; мужчина попрощался и ушел.

Соседка снизу, тетя Рая, каждый раз, сталкиваясь с мамой во дворе, спрашивала, не вышла ли та замуж. Мама отвечала, что нет.

– А почему? – удивлялась тетя Рая.

– Жду свою судьбу, – говорила мама сквозь зубы.

Судьба нашла ее в шиздиспансере, в ноябрьскую субботу, в одиннадцать утра. Мама повела Анютика делать укол и в коридоре столкнулась с Толиком. Он тоже пришел на укол. Получилась какая-то социальная путаница с шиздиспансерами, и его перевели на наш район, временно, конечно. Толик постарел, подспился, о кино, конечно, пришлось забыть, но в глазах мамы это был все тот же весельчак со спутанной челкой, чья улыбка раз и навсегда поразила ее сердце в травмпункте. Анютик рассказала, что, поздоровавшись с Толиком, мама начала залиристо хохотать, хотя ничего даже отдаленно смешного он не говорил, а потом они оба, уколотые, и мама отправились гулять. Анютик с кружащейся после гала головой плелась сзади, а мама взяла Толика под руку и рассказывала ему всю свою жизнь с того дня, когда они расстались. Теперь выяснилось, что мама ужасно об этом жалела. Толик – непонятно, жалел или нет, но, по словам Анютика, периодически он клал руку на мамин зад.

Маму словно прорвало. Она говорила, как скучала по Толику, а потом и вовсе начала изъявлять желание чуть ли не немедленно возобновить с ним сожитительство. Тут даже Толик проявил больше благоразумия, сказав, что

теперь-то чего скрывать, мама, наверное, догадалась, но диагноз у него был уже тогда, когда его привезли с переломом, и маме он, конечно, ничего не сказал, потому что кому ж такое понравится? Мама округлила глаза и принялась делиться историей Анютика. Дескать, сам бог наказал ее за предательство несчастного больного Толика, и вот, пожалуйста, у ее родной дочери такая же сволочь. Толик хмуро глянул в сторону Анютика, а потом пошутил на тему: неужели одного шизика тебе в семье недостаточно?

Бабушкино сопротивление было сломлено в течение недели, пока Толик приходил к нам вечером, позванивая пакетом с бутылками, спал в маминной комнате, а утром накуривал кухню до такого состояния, что туда нельзя было войти, и уходил. У него была собака, с которой надо было гулять. Естественно, мама предложила, чтобы он и собаку к нам переселил. К тому моменту, когда к нам пожаловал Толиков беспородный черный кобель гигантских размеров, Долли уже умерла от рака прямой кишки.

Пса звали Лютер, и ожидать, что с ним все нормально, было бы по меньшей мере наивно. С Долли, в общем, тоже не все шло гладко: она заходила лаем на полчаса, если кто-то спускался мимо нашей двери по лестнице, при первом удобном случае сбегала, и ее до самой глубокой старости приходилось водить на поводке, но ее скромные кокерские габариты хотя бы не представляли угрозы для жизни.

Толик уверял, что взял Лютера у своей знакомой, владелицы белой лабрадорши. На даче лабрадорша нагуляла щенков непонятно от кого, и якобы знакомая скрыла это от Толика, сказав, что щенки – чистокровные лабрадоры. А маленький Лютер примерно так и выглядел. Правда, когда вырос, одно ухо у него встало домиком, а второе так и осталось лежать тряпочкой, на груди шерсть почему-то завивалась колечками, а хвост больше был похож на кошачий, такой он был длинный и пушистый. Еще у Лютера были огромные ярко-белые зубы.

Очутившись в нашей квартире, он если и пережил стресс, то виду не показал, все держал в себе. Какой-то особой привязанности к Толику пес не испытывал. Все время он проводил в нашей с Анютиком комнате и даже спал там на старом стеганом спальном мешке, молнии по краям мешка Лютер грыз. Мы играли с ним в перетягивание мягких игрушек, оставшихся с детства, Лютер их в кратчайшие сроки уничтожил. Первым пал заяц Вася, державший в лапах красное бархатное сердце с надписью “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”, у Васи были непропорционально

длинные, вихляющиеся лапы. Анюттик хваталась за правую переднюю, я – за левую, а Лютер, весело порыкивая, вцеплялся зайцу в беззащитный хвостик-помпон и тянул его на себя. Хвост оторвался практически мгновенно, и Лютер его от неожиданности проглотил, а потом два дня какал нитками. В течение недели он оторвал Васе поочередно все лапы, а потом и сердце, и зайца спустили в мусоропровод. Следующим пришел черед розового медведя Рекса (мама очень радовалась его гибели, потому что он занимал полкомнаты), атомной кошки (она была зеленого цвета в фиолетовый горох) и тигрицы Тайги, с ней Лютер обошелся особенно жестоко: сначала он вырвал ей зеленые пластмассовые глаза, которыми тоже какал, а потом отгрыз голову.

Ел Лютер ошпаренный геркулес с печенкой, но больше всего он любил таблетки. В нашем доме в них не было недостатка, их принимали все, и то бабушка роняла в ковровый ворс парочку дозармилок и не могла потом найти, то Толик забывал принять свои транки, заботливо выложенные мамой на прикроватную тумбочку рядом со стаканом воды. Лютер как будто чувствовал таблетки по запаху, в непосредственной близости от лакомства он вдруг прижимал к голове свое стоячее ухо, подбирал губы и утыкался носом в пол. Фыркая, он следовал за запахом, а потом быстро щелкал челюстями и разгрызал таблетку. Ему нравились абсолютно все, как-то я ради интереса дала ему стрептоцид, и он съел его не морщась, а потом добрал языком крошки.

Поначалу гулял с псом только Толик. Мама жарко убеждала его, что и я, и Анюттик просто асы по выгулу собак: видимо, ей хотелось хотя бы на полчаса остаться с Толиком наедине, но он был непреклонен. Эта непреклонность длилась месяца полтора, а потом он заболел, и мы получили неоценимую возможность впервые вывести Лютера во двор. Задача оказалась не из легких: я весила сорок два килограмма, Анюттик – тридцать шесть, а Лютер – пятьдесят. Из квартиры он вышел добровольно, сел с нами в лифт, но вот в дверях подъезда его переклинило, и он начал рваться обратно. В этот момент с улицы как раз заходили тетя Рая с племянником; увидев их, Лютер вообще обезумел – он вставал на дыбы и душил себя ошейником, его брезентовый, в узлах поводок мы с Анюттиком еле удерживали, брезент скользил, и на ладонях оставались горящие розовые полосы. Тетя Рая ахала, а племянник сориентировался и закрыл первую дверь в подъезд, мы с Анюттиком и Лютером теперь боролись в тамбуре два на полтора метра, пока мне не удалось открыть дверь на улицу, а Анюттик не засадила Лютеру хорошего леща. Он пробкой вылетел на дорогу, и его чуть не задавила подъехавшая машина, водитель открыл окошко и покрыл нас с Анюттиком матом.

Правда, у нас не было шанса достойно ему ответить: с пылающими, исполосованными поводком ладонями мы неслись за Лютером по темному двору к детской площадке. Возле нее присела заслуженная мальтийская болонка, настолько старая, что на спине у нее местами вылезла шерсть. Хозяин болонки, жирный старик, курил, покачиваясь на носках. Завидев нас, он, слава богу, понял, как действовать, и подхватил собаку на руки за секунду до того, как Лютер разомкнул свои колоссальные челюсти.

– Это что такое? – заголосил старик. – Кто вам разрешает с такой собакой гулять?! Безобразие!

Мы с Анютиком стояли и смотрели, как болонка елозит грязными лапами по куртке хозяина.

– Извините, – сказала Анютик, – это не наша собака.

Лютер деловито брызгал на грибки, как будто именно с этой целью и вышел из дома.

– Намордник надо надевать! – крикнул дед.

Толик болел долго, физические признаки смешивались у него с психическими, и никакого конца его недомоганию не было видно. Я попросила маму купить Лютеру намордник, он не очень ему нравился, но, во всяком случае, с намордником его можно было спускать. Как-то вечером мы вышли с ним из подъезда, преодолев мощное сопротивление, и направились в парк. Лютер вел себя относительно спокойно, как вдруг откуда-то из темноты раздался сначала тихий свист, потом шипение, и парк сотряс оглушительный взрыв китайской петарды. Лютер замер на месте, а потом забился крупной дрожью. Я поняла, что сейчас произойдет нечто ужасное.

– Лютер, иди сюда, мой хороший. – Приговаривая так, я медленно двигалась к нему.

Его тряпочное ухо на мгновение поднялось, и, ошалело зыркнув на меня, Лютер кинулся через дорогу по направлению к нашему дому. Завизжали тормоза, мощные матерные выкрики накрыл залп второй петарды. Мы с Анютиком, размахивая поводком, неслись за Лютером. Когда мы добежали до нашего

подъезда, Лютер метался перед дверью как подстреленный. Я сделала новую попытку посадить его на поводок, но он то ли не узнал меня, то ли решил, что это я взрываю петарды, и неожиданно прыгнул к закрытой на ржавый замок двери в подвал. Дверь была железная, еще советского производства, между ней и проемом находился зазор не больше пятнадцати сантиметров. Лютер просунул в него морду, потом стремительно пролез в щелочку целиком – и исчез в темноте. Мы с Анютиком пораженно смотрели на запертую подвальную дверь.

– Лютик, – неуверенно позвала я.

Сначала все было тихо, но спустя минуту из щели высунулась черная Лютерова морда и издала жалобный скулеж. Я осталась с ним, а Анютик побежала домой. Минут через пятнадцать подошли мама в пальто, надетом на халат, и Толик. Он подергал дверь, а потом присел перед ней и задал коронный вопрос:

– Как он туда пролез?

Я рассказала, что в парке какие-то идиоты взрывали петарды и Лютер испугался и убежал. К счастью, побежал он к дому. Но в подъезд зайти почему-то не захотел и кинулся в подвал. Наверное, страх подстегнул его, и он просочился в такую узкую щелочку.

– Единственное, что я могу сделать, – Толик почесал за ухом, – это найти петарду и взорвать ее здесь. Чтобы он опять испугался и выскочил наружу.

– Ты в своем уме?! – возмутилась мама. – А если он умрет от разрыва сердца?

Мы посоветовались, и мама пошла звонить в ДЭЗ, чтобы они прислали слесаря. Он пришел еще минут через сорок, правда, не с тем ключом. Нужный ключ искали дополнительные полчаса, после чего дверь в подвал наконец открылась, и Толик выволок оттуда приседающего, на подламывающихся лапах Лютера. Мама вопила, чтобы он не усугублял и без того сложную ситуацию, но Толик не послушал и все равно избил его поводком. Лютер вскрикивал как-то по-дельфиньи, а когда мы вернулись домой, лег в коридоре, положив морду на передние лапы. Я шла из ванной в свою комнату и увидела, что глаза у него совершенно мокрые. Видимо, он плакал.



То ли оскорбление, нанесенное Толиком, превосходило меру терпения Лютера, то ли заточение в подвале закрепило какой-то порочный рефлекс, но он вообще перестал подходить к нам на улице. Поймать его было невозможно. А не спускаться с поводка тоже было невозможно, потому что он тянул как поезд. Каждая прогулка превращалась в мучение. Сначала или Толик, или мама, или мы с Анютиком срывали глотки, на разные лады призывая Лютера, потом делали вид, что убегаем от него (иногда он бежал вслед, иногда нет), а потом часами стояли у подъезда – нужно было улучшить момент, когда он на спринтерской скорости несется к двери, и распахнуть ее перед ним. В лифт Лютер почему-то тоже перестал заходить. Ворвавшись в подъезд, он скачками несся вверх по лестнице, добежал до восьмого этажа и водопадным образом сосал оттуда в пролет. Жильцы восьмого этажа обещали написать на нас жалобу.

В школе Анютик по-прежнему просто присутствовала, какие-то сведения до нее, конечно, доходили, но скорее по случайности. Если в младших классах это еще прокатывало, то с неумолимым усложнением школьной программы перестало. Ежиков, таскавших на своих иголках грибочки, Анютик могла пересчитать, но вот абстрактные понятия разбивались об ее ум, как волны об скалу. Интегралы, синусоиды и косинусоиды, параболы и оси координат воспринимались как бред сумасшедшего. Какого хрена все это надо было учить? Я остервенело высчитывала в тетрадках Анютика директрисы и фокусы параболы, но когда к ним добавились химические уравнения с непостоянной валентностью, взвыла. Я физически не могла учиться еще и за Анютика. Мама посоветовалась с учительницей по алгебре, предварительно выставившей Анютику два/два по городской контрольной, и приняла решение нанять репетитора. Им согласилась выступить бабушкина пациентка Марина Александровна, она как раз вышла на пенсию после сорока пяти лет преподавания математики в средней школе. Марина Александровна заломила невиданную цену – сто долларов за сорок минут, и Толик сказал, что столько берут за подготовку в вуз, но бабушка возмутилась. Марина Александровна – больной человек, у нее гипертония, и за эти сраные сто долларов ей придется ездить к нам с “Юго-Западной”. Даже не с самой “Юго-Западной”, это было бы слишком легко, а из Олимпийской деревни. Оттуда до метро на автобусе пятнадцать минут, и автобусы, между прочим, не ходят, нужно на маршрутку садиться, а в них пенсионное удостоверение не действует.

Дорога и впрямь чудовищно Марину Александровну изматывала. Приезжая к нам, она раздевалась, распространяя сладкий дух классического парфюма, садилась за стол и, пока Анютик раскладывала тетрадки, интересовалась, нет ли у нас чего-нибудь поесть. Ела Марина Александровна все, ее устраивали и

пирожные, и вчерашний борщ. Сто долларов скромно поджидали ее в конвертике в прихожей. Алгебра бывшую учительницу не слишком интересовала. Обычно она жевала, рассевшись за столом, и, засыпая учебники крошками, рассказывала, какой красавицей была в молодости, как за ней увивались мужчины и какие романы она закручивала на отдыхе в Гаграх и Дагомысе. Своего мужа, по имени Алик, Марина Александровна не слишком жаловала, к тому же, как я поняла, у них была не совсем здоровая дочь, и Марина Александровна утверждала, что в этом виноват именно Алик. Анютик, только чтобы не заниматься, подстегивала словесный поток училки, задавала наводящие вопросы, и в итоге мы тридцать пять минут слушали про грузина Гелу, который никак не мог успокоиться после секса с Мариной Александровной в номере гагрского пансионата и названивал с угрозами Алику, а в оставшиеся пять минут Марина Александровна быстро решала заданные Анютику задачки, попутно объясняя свои действия.

- Это же элементарно! - приговаривала она.

В тот вечер пошел дождь, и мама полтора часа мокла у подъезда, не в силах загнать Лютера домой. Зонтик она не взяла. Вернувшись, мама выдвинула Толику ультиматум: или он начинает воспитание собаки, или она, когда Толик в очередной раз пойдет в ПНД на уколы, отвезет Лютера на окраину и там выкинет, потому что он, конечно, очень хороший пес и мы все его полюбили, но так жить больше нельзя. Вряд ли Толик поверил, что мама сможет выкинуть Лютера на улицу, но и его пес прилично достал. На следующий день мама нашла в интернете телефон частного кинолога по имени Алексей Ивашов, который взялся перевоспитать Лютера индивидуально.

Алексей оказался уголовного вида парнем в спортивных штанах с провисшими коленками; когда он говорил, немного скашивая на сторону рот, в глубине мелькал золотой зуб. Опыт его работы с собаками никто, конечно, не догадался проверить, но на Лютера он действовал подавляюще с самого начала. А началось все с того, что Алексей позвонил в нашу дверь, мы с Анютиком открыли ее под громоподобное гавканье Лютера, а затем продемонстрировали кинологу наше, так сказать, классическое гуляние. Лифт, битки в подъезде, беготню на улице, ожидание и финальное ссанье на восьмом этаже. Алексей, я думаю, был впечатлен.

Он сказал, что первым делом мы должны научить Лютера подходить к нам на улице. Для этого требовалось не кормить его два дня, а потом выйти на

прогулку с полными карманами колбасы и приманивать его ей. За каждый подход давать кусочек, и таким образом Лютер поймет, что бежать к хозяину, когда его зовут, вовсе не страшно, а даже и приятно.

Лютер не очень понял, почему его миска не наполняется печенкой и геркулесовой кашей. Сначала он печально лежал рядом с ней, потом пытался выпрашивать у стола, но Толик так на него рявкнул, что он убежал в коридор. Через два дня снова приехал Алексей, и мы, как и договаривались, вышли во двор, где начали швырять ослабевшему Лютеру нарезанную на какие-то голубиные порции салями. Особенного рвения в учебе пес не проявлял, но Алексей уверял, что положительный сдвиг налицо. Потом мы втроем сели на скамейку, Алексей закурил.

- А у вас есть собака? - спросила Анютик.

- Да, - ответил он, - немецкая овчарка.

- Она слушается? - сказала я.

Алексей презрительно скосил рот.

- Девочка, даже если по улице будут ходить слоны, она будет смотреть только на меня.

В этот момент околавившийся рядом Лютер вдруг подпрыгнул и вцепился Алексею в лицо. Мы с Анютиком даже не успели вскрикнуть. Алексей вздохнул, ткнул Лютера кулаком в грудь, тот отлетел, и мы увидели разорванный в клочья нос кинолога. Кожа свисала лоскутками, из-под нее толчками выходила кровь, все вместе это напоминало тарелку со спагетти болоньез. Алексей вскочил со скамейки и, прижимая ладонь к носу, побежал со двора. Лютер, виляя хвостом, подошел к нам. Я выгребла из карманов остатки колбасы и отдала ему.

Вечером случился скандал. Маме позвонил Алексей и сказал, что в травмпункте ему наложили пятьдесят швов. Он потребовал моральную компенсацию в размере почему-то тридцати тысяч рублей, а иначе собирался подавать на нас в суд. Мама орала, что Лютера надо немедленно усыпить, мы с Анютиком рыдали. Толик мрачно курил, а потом сказал, что кинолог - мудака и еще бы Лютер на него не кинулся, если его два дня не кормили. Мама на всякий случай плотно

накормила Лютера.

На следующий день к нам пришла Марина Александровна, и я принесла ей винегрет с черным хлебом. Плавню потек рассказ о Нугзаре, с которым Марина Александровна трахнулась в купе поезда, следовавшего по маршруту Москва – Батуми, и прервал его новый бросок Лютера – на этот раз он, к счастью, прокусил всего лишь щеку. Ситуация выходила из-под контроля. Лютер бросался без предупреждения и, что самое неприятное, – сразу в лицо. Марину Александровну заткнуть было сложнее, чем Алексея, к тому же на ее сторону встала бабушка. Она сказала, что это просто хамство и дебилизм, – чтобы педагог приходил в дом, а там его кусала такая вот беспардонная собака. Мама названивала каким-то своим знакомым в Ногинск, которые сто лет назад говорили ей, что у них там хозяйство и нужна сторожевая собака. В Ногинске никто не брал трубку. Толик сказал, что и он согласен, так дело не пойдет. Но все-таки Лютер – его любимец, он его на ладошке держал, как-то жестоко его сразу в Ногинск. Надо дать ему последний шанс, всем немножко успокоиться, может, и он тогда перестанет рвать людям морды.

Спокойствие длилось ровно неделю. В пятницу мама с Толиком праздновали годовщину своих романтических отношений. На столе были свечи, торт в форме сердца, салаты из кулинарии и мясная нарезка. Пили белое вино, причем настолько увлеченно, что к девяти вечера выпили две бутылки. На такие случаи в соседнем с нашим доме существовал “Ароматный мир”, но там была загвоздка в виде кассирши. Одна кассирша была нормальная и легко отпускала бухло мне или Анютику, когда нас туда посылали, а другая почему-то артачилась. Мама с Толиком не знали, какая именно кассирша работает сегодня, и решили идти за вином самостоятельно, чтобы не терять времени, на случай, если нас с Анютиком развернет эта недотраханная стерва.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Alleinsein - одиночество.

2

Müde - устала.

3

Lust - похоть.

4

Tier - зверь.

5

Tod - смерть.

6

Wahnsinn – безумие.

7

Unschuld – невинность.

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/kozlova\\_anna/f20](https://tellnovel.com/ru/kozlova_anna/f20)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)